

Русская литература XI–XVIII веков и проблема классического: к постановке вопроса

И. В. Аршинова (Санкт-Петербург)

История русской литературы как гуманитарная дисциплина знала множество попыток периодизации уже более чем тысячелетнего хода развития русской литературы от Нестора, так сказать, *ab ovo*, и вплоть до наших дней (достаточно вспомнить имена Г. А. Гуковского, В. В. Кожина, М. Н. Виролайнен и др.). Между тем, представляется, вне зависимости от критериев, вводимых теоретиками и историками литературы для выделения этих периодов, любая концепция развития русской литературы XI–XXI веков (кроме, пожалуй, концепции Ю. Н. Тынянова) исходит из разделения всего литературного процесса (надо сказать, разделения самоочевидного и неоспоримого) – на русскую литературу до А. С. Пушкина и литературу после него. К настоящему моменту хронологически неравновесные (8 веков и 2 с небольшим века соответственно), эти два промежутка времени имеют несопоставимо разную литературную плотность, насыщенность и непрерывность литературного процесса. До нас дошли считанные памятники древнерусской словесности (оставим в стороне дискуссионный вопрос: древнерусская словесность – литература или письменность?), гораздо большее, но все-таки обозримое количество произведений XVIII века – и океан, иначе не сказать, литературы XIX–XX–XXI веков, который с пушкинских и до наших дней только увеличивался. Не вдаваясь в изучение причин, отметим лишь, что, очевидно, хотя бы с учетом разницы между «насыщенностью» одного и другого периода, подходы к их исследованию должны быть разными.

Разбивая более чем тысячелетний русский литературный процесс всего на два периода – «допушкинский» и «послепушкинский» – и тем самым превращая десятилетия творчества самого Пушкина лишь в тонкую границу между ними, нельзя не сознавать, насколько грубое масштабирование здесь применяется. Однако, думается, позволительно сделать это в целях исключительно экспериментальных, оговорив, предваряя невольно возникающие подозрения в вульгарном телеологизме, что такое деление отнюдь не подразумевает рассмотрение, скажем, литературных фактов XI века с точки зрения их «предшествования» Пушкину.

Мысль о том, что именно «от Пушкина» следует отмерять периоды развития русской литературы, как уже было отмечено, далеко не нова. Однако

весьма неочевидный и очень любопытный поворот она получает у С. С. Аверинцева. В статье «Аверинцев в нашей истории» С. Г. Бочаров передает высказанную Аверинцевым в беседе с М. Л. Гаспаровым мысль о месте Пушкина в русском литературном процессе:

Пушкин стоит на переломе отношения к античности как к образцу и как к истории, отсюда его мгновенная исключительность. Такова же и веймарская классика.

Далее С. Г. Бочаров комментирует:

Два слова Аверинцева <...> не остаются лишь риторическим восклицанием, а имеют кратчайшее филологическое, научное обоснование по близкому ему как филологу-классику признаку отношения Пушкина к античности... Но – кратчайшее обоснование, конгениальное пушкинскому способу высказывания в двух словах об огромных вещах. <...> Что это значит – «мгновенная исключительность»? Это значит, что Пушкин хоть и явился, конечно, результатом какой-то литературной эволюции, но не простым «закономерным», так сказать, ее результатом, а вспышкой, солнечным взрывом, то есть по-пушкински, в ходе литературных закономерностей он возник как счастливый случай (Бочаров 2004: 22–23).

Что мы из этого емкого и лаконичного пассажа можем извлечь методологически? Аверинцев предлагает взглянуть на феномен Пушкина как на некий поворот в развитии отношений русской литературы и античного наследия, что отнюдь не является частностью, как может показаться на первый взгляд. «Вопрос о Пушкине», который в одно и то же время обусловлен логикой этих взаимоотношений и как бы выпадает из нее, становится в известном смысле вопросом о русской литературе в ее целом. Или, что в данном случае сопоставимо, о ее положении относительно ключевой составляющей европейской культуры – греко-римской классики. Одной из задач данной статьи будет рассмотрение русского литературного процесса, а именно – «допушкинского» периода XI–XVIII веков, поскольку он является наиболее репрезентативным, в свете его взаимодействия с античной классикой. Своеобразно переведя проблему русского литературного процесса в общеевропейский и историко-культурный контекст, Аверинцев многократно расширяет горизонт поиска ее возможного решения – вполне в соответствии с ее важностью.

Реконструирование контекста проблемы «в большом времени» требует бегло вспомнить основные вехи жизни европейской классической традиции. Возникшая в I веке до н. э. в эпоху эллинизма, она обязана своим появлением характеру отношения древнеримской культуры к древнегреческой, которые, хотя мы их и объединяем общим понятием «античность», суть явления

принципиально несхожие. В статье «Римский этап античной литературы» С. С. Аверинцев пишет:

Если римская литература и впрямь была несамостоятельной, подражательной, «вторичной», сами римляне никоим образом не относились к таким ее свойствам как к постыдному секрету<...> Совсем напротив, они не устают радостно и гордо указывать на свою связь с греческими прообразами, дающую им, так сказать, права гражданства в мире культур <...> Ситуация «подражания» – «состязания» имела место не просто между деятелями римской литературы и их греческими предшественниками, но между римской литературой в целом и греческой литературой в целом (Аверинцев 1989: 9–10).

Этот римский опыт «присваивания» иной культуры стал литературным прецедентом:

Римляне сделали то, чего до них сделать никто не пытался: они приступили к созданию литературы греческого типа на своем собственном языке, вне сферы греческого языка <...> Отсюда вела прямая дорога не только ко всем успехам античной, средневековой и гуманистической латыни, но и к многоязычию европейского Ренессанса или европейского классицизма (Аверинцев 1989: 15–16).

То, что мы называем классической традицией, есть отношение одной культуры к другой совершенно особого рода – «как к образцу». При этом одна из них действует и развивается, а другая воспринимается первой как некий трансцендентный ей, монадически замкнутый идеал, существующий вне временных категорий, современности в собственном смысле этого слова непричастный. Сохраняя свою внеприродность, классический идеал постепенно усваивается европейскими национальными культурами, что и позволяет говорить (например, Л. В. Пумпянскому, см.: Пумпянский 2000) о том, что все европейские литературы, не исключая и русскую, произошли из рецепции античности.

Ввиду самых разных исторических причин (политических, военных, религиозных и т. д.) так сложилось, что русская культура непосредственно узнала античность только в середине XVII века; разумеется, при этом мы должны оговорить, что опосредованно они все же были знакомы – через византийскую литературу, масштаб влияния которой на древнерусскую словесность трудно переоценить. В середине же XVII века в одной из точек восточнославянского культурного пространства – в Киево-Могилянской академии – образуется своеобразный очаг латиноязычной книжности, там впервые начинает изучаться античная риторика, штудируются Квинтилиан, Цицерон и Аристотель. И надо отметить, что у древнерусской, византийской по происхождению, и классической литературных культур было много общего. Хотя по признаку фактического знания / незнания античности период

XI–XVIII вв. достаточно четко распадается на два, все же можно говорить о том, что некая основа на протяжении восьми веков оставалась во многом неизменной.

Прежде всего, XI–XVIII века – это эпоха «готового» слова. Как поясняет А. В. Михайлов, который ввел этот термин в филологический обиход, «готовое» слово – слово, заранее данное культурой поэту (писателю, оратору и т. д.) как «готовый смысл» (Михайлов 1997: 510). Здесь важно выделить несколько моментов. Во-первых, в культуре «готового» слова ее авторам свойственно жанровое мышление, то есть мышление конкретными, «предсуществовавшими» литературными формами, в которых проявляет себя любое новое содержание. Во-вторых, поскольку самовоспроизводство некоторого набора существующих в литературе форм – едва ли не самая заметная черта литературы такой эпохи – вес и значение какое-либо литературное произведение получало, когда апеллировало к культурным авторитетам, а не ниспровергало их. В-третьих, прямого доступа к действительности, не опосредованного уже наличествующей формой, авторы не имели. В таком случае не слово подчиняется автору, но автор подчинен слову, а новаторство возможно лишь в отдельных областях литературного творчества (например, разнообразие содержательного наполнения од – но строго внутри твердой жанровой одической формы).

Разумеется, эпоха «готового слова» – эпоха не столько в истории литературы, сколько в духовной истории (то, что в немецкой традиции обозначают как *Geistesgeschichte*). «Готовое» слово – живой носитель культурной традиции, носитель ее важнейших смыслов. В своей культуре оно неразрывно связано со знанием и моралью и через них – с истиной, поэтому риторика в строгом смысле не может существовать в релятивистской культуре. Новый опыт выражается в старых формах, и культура тем самым способна постоянно себя воспроизводить. В рамках такого «морально-риторического» типа культуры с истиной можно играть и смеяться над ней, выворачивать ее наизнанку, но отрицать ее существование или опровергать – нельзя; за любой риторической игрой неколебимо стоит утверждаемая самим словом ценностно-смысловая система. Задаваемая общериторическая нормативность вторична по отношению к природе «готового» слова, вернее, является не более чем одним из его осознанных неотчуждаемых свойств. Соответственно, знание и мораль тоже не приходят откуда-то, а извлекаются напрямую из слова, их в себе содержащего и выражающего. Слово собой как бы предъявляет их в их единственности миру. По выражению А. В. Михайлова, такая культурная система – «система организованного словом морального знания» (Михайлов 1997: 512).

Между понятиями «классическая культура» и «культура «готового слова»» нельзя, конечно, поставить полноценного знака равенства. Хотя бы потому, что семантический объем второго термина больше, чем первого. Однако также нельзя не заметить, что у двух этих понятий есть, так сказать, общая земля.

Как и культура «готового слова», классическая культура немислима без метафизического основания, предполагающего отнюдь не только определенную ценностную иерархию; ее невозможно вообразить вне представлений о смысле, цели, совершенстве – в эстетическом, этическом и метафизическом планах. Такие культуры формируются в напряженном осмыслении и ощущении дистанции – между заданным и данным. Их можно объединить под более обобщенным понятием – культура императива, культура заданности, что отражало бы их духовные интенции. Любопытно в этой связи наблюдение В. Н. Волошинова / М. М. Бахтина в знаменитой работе «Марксизм и философия языка»:

История не знает ни одного исторического народа, священное писание которого или предание не было бы в той или иной степени иноязычным и непонятным профану (Бахтин 2000: 410).

Недаром Л. В. Пумпянский писал, что «литература, находящаяся в известном отношении к не своей абсолютной ценности – классична; не классична релятивированная литература» (Пумпянский 2000: 30). Он же считал, что поскольку рецепция античности произошла в России позже, чем где бы то ни было в Европе, на русской почве родился самый зрелый плод европейской классической традиции – русская литература XIX века, тем самым действительно завершив классический период зримым воплощением его многовековых стремлений и чаяний. Для нас в этом утверждении особенно важно то, что XIX век, насколько бы расширительно ни употреблялся термин «классическая традиция», однозначно явился ее эпилогом. И очевидно, что причины, которые привели к концу классического периода, не являлись имманентными собственно культуре. Как пишет П. П. Гайденко в работе «История новоевропейской философии в ее связи с наукой»,

...разрушение античного и средневекового космоса в XVII–XVIII вв. происходило... «поэтапно». Сначала понятия совершенства, смысла и цели, вытесненные из естествознания, сохранились в качестве его метафизического фундамента, созданного в рамках философских систем. Но на втором этапе – главным образом уже в XVIII в. – эти понятия и принципы вытесняются из сферы теоретического знания вообще; на место дуализма физики и метафизики встает сначала дуализм физики и этики, который затем перерастает в дуализм наук о природе и наук о культуре. На протяжении всего XIX в. не прекращается ожесточенный спор о том, какую из этих двух ветвей человеческого познания считать исходной, – спор, непрестанно возобновляемый именно потому, что человеческое сознание не может удовлетвориться дуализмом (Гайденко 2000: 381).

Неразрывная связь классического и метафизического; медленное, но неуклонное вытеснение метафизики за границу, если можно так выразиться,

интеллектуальной оседлости, которое лишает почвы классическую традицию; ее императивность; ее эстетическая, этическая и духовная заданность; конституирующее для классического сознания ощущение дистанции между заданным и данным – вот, по нашему мнению, тот далеко неполный перечень вопросов, которые должны обсуждаться в связи с проблемой классики, вероятно, являющейся одной из центральных для понимания русского и европейского литературного процесса. Именно поэтому, на наш взгляд, проблему классического следует рассматривать не в сугубо филологическом контексте, но скорее в русле духовной истории. То, что «классическое» до сих пор представляет собой острую проблему – в этом нет никаких сомнений.

Литература

- Аверинцев 1989 – *Аверинцев С. С.* Римский этап античной литературы // Поэтика древнеримской литературы. М., 1989. С. 5–21.
- Бахтин 2000 – *Бахтин М. М.* Фрейдизм. Формальный метод в литературоведении. Марксизм и философия языка. Статьи. М., 2000.
- Бочаров 2004 – *Бочаров С. Г.* Аверинцев в нашей истории // Вопросы литературы. 2004. №6. С. 19–24.
- Гайденок 2000 – *Гайденок П. П.* История новоевропейской философии в ее связи с наукой. М., 2000.
- Михайлов 1997 – *Михайлов А. В.* Языки культур. М., 1997.
- Пумпянский 2000 – *Пумпянский Л. В.* К истории русского классицизма // Пумпянский Л. В. Классическая традиция. М., 2000. С. 30–157.